В. С. АКСАКОВА

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Абрамцево, ноября 14, воскресенье. Сегодня я не была у обедни, потому что ездила вчера, а сегодня ездили сестры. – Почту привезли рано, – кроме газет, три письма – от Гриши, от Хлебникова и совершенно неожиданно от Смирновой.

Известий из Крыма никаких особенных, кроме того, что 2 ноября была буря и корабли неприятельские пострадали. Маменька слышала в Хотькове, будто бы в «Городском листке» 12-го числа было напечатано известие о сильном нашем поражении, но это не может быть: иначе в «Московских ведомостях» должно уже было быть перепечатано…»

- Вера Сергеевна Аксакова
-

Вера Сергеевна Аксакова
Дневник. 1854 год

Абрамцево, ноября 14, воскресенье . Сегодня я не была у обедни, потому что ездила вчера, а сегодня ездили сестры. – Почту привезли рано, – кроме газет, три письма – от Гриши, от Хлебникова и совершенно неожиданно от Смирновой.

Известий из Крыма никаких особенных, кроме того, что 2 ноября была буря и корабли неприятельские пострадали. Маменька слышала в Хотькове, будто бы в «Городском листке» 12-го числа было напечатано известие о сильном нашем поражении, но это не может быть: иначе в «Московских ведомостях» должно уже было быть перепечатано. Смирнова также пишет, что *Ходят* какие-то неблагоприятные слухи; может быть, они оправдаются, как предчувствия, но еще известий невозможно было получить. Что-то Бог даст! Какие бы ни были известия, все же они нам возвестят страшное кровопролитие, иначе быть не может, ни нам, ни врагам нашим отступить нельзя. Сердце сжимается, как подумаешь об этом ужасном истреблении людей, об этих страшных человеческих страданиях. И как больно, и тяжело, и обидно думать, что часто наше храброе войско погибает от непростительной оплошности начальника, как, напр. этот Данненберг, который, по его собственному донесению, как он ни старался представить его в другом виде, кругом виноват в той гибели нашего войска, которой они подверглись в последнем деле при вылазке 25 октября. Данненберг, очевидно, опоздал, а про редуты, которые он заставил строить под страшным огнем неприятельским, он не упоминает, хотя Меншиков об этом донес в первом своем донесении об этом деле.

Но что нам печатают за донесения Меншикова! Это возмутительно читать! Из них делают такие сокращенные извлечения в строчек пять, так что решительно не можешь себе составить настоящего понятия. Это уже слишком пренебрежительно или даже злонамеренно. Кажется, нарочно хотят нас оставить в неизвестности, в страхе; все дурное нам сейчас выставляют на вид, а о более утешительных подробностях умалчивают, вероятно, для того, чтобы нас приготовить к необходимости мира как единственной возможности прекратить эти ужасы. Я убеждена, что Нессельроде старается об этом. Недаром также напечатано в «Новой прусской газете» письмо русского, присланное из Петербурга, в котором есть такая фраза: «что нам нет спасения от каленых ядер в Севастополе». Для чего

именно выбрать такое письмо, в котором указывается на то, каким образом могут нам нанести враги наши наибольший вред, как не с намерением, чтобы они воспользовались этим указанием! Другое дело, если б у нас печатался целый ряд писем о Севастополе, в которых бы толковалось и об успехе и неуспехе, но напечатать одно такое письмо это уже слишком странно, и я просто обвиняю Нессельроде в злоумышленности, каким бы то ни было способом принудить нас хотя <бы> к постыдному миру. Смирнова пишет, что ходят слухи о мирных переговорах, а между тем Пальмерстон поехал к императору Францу, чтобы уговорить его послать 100-тысячную армию к Перекопу, чтоб отрезать нам всякое сообщение и завладеть Крымом, как Мальтой. – Что-то будет! Да смилуется Бог над нами! – Смирновой письмо умно, дружественно и в самом благонамеренном духе. Она говорит:

Какие времена! Совершаются судьбы Божий над народами. Но мы противимся судьбам святым над нами, да не покарает нас Бог за то; но народ не виноват, что правительство против его желания так поступает, или, может быть, народ всегда виноват, если у него такое правительство. Справедливы стихи Хомякова, теперь они еще более оправдались. Где же покаяние, возможно ли оно или, может быть, нужны в самом деле страшные испытания, чтоб Русская земля очистилась? Куда ведет нас Божья воля? Страшно. Если и настанет наконец светлый день, то через что должны пройти люди? Господь да свершит святые судьбы Свои в милости, и да укрепит людей Своих на пути испытания, и да узрим мы день спасения!

15 ноября. Чтения у нас вовсе нет вот уже несколько времени, и мы пробавляемся старыми книгами, читаем теперь поход 13-го года Бутурлина. Смирнова пишет, что Батюшков совершенно исцелился, пришел в себя после 30-летнего сумасшествия и теперь читает донесения из Крыма и следит на карте. Невероятно почти; мы праздновали его возрождение чтением его стихов, из которых некоторые особенно восхищали нас. Славу Богу, если то правда, что он исцелился, каково должно быть его впечатление, – очнуться после стольких лет!

Сегодня маменька опять была у обедни в Хотькове, опять там слышала те же слухи, только еще с подробностями, будто избиение было страшное; два раза били отбой, наши войска не хотели отступать; что потеря была ужасная, с нашей стороны 360 одних офицеров, но неприятельская армия еще более потерпела и совершенно притиснута нами к морю. Поскольку справедливы эти слухи, трудно решить; по всему кажется, что известия еще не могли дойти, но всего вероятнее, что там происходило или происходит подобное кровопролитие. Народ же, может быть, чует

это.
Что-то принесет нам почта? Завтра газет не будет, но не будет ли письма? Впрочем, Ефим послан в Москву, и, вероятно, знакомые наши будут писать с ним. Что-то Бог даст?

16 ноября. Сегодня привезли с почты два письма, одно из деревни, другое от Ивана, последнее где-то гуляло две недели. Иван пишет, между прочим, что скоро приедет. Какое-то будет свидание? Дай Бог, чтоб по крайней мере обошлось без волнений и наша семейная мирная жизнь не была бы нарушена. Политических известий никаких; видно, хотьковские слухи, как и всегда, впрочем, бывает, совершенный вздор. Иван пишет, как слух, что великие князья скупают по 6 целковых штуцера иностранные и формируют штуцерные батальоны. Говорят, в Петербург провезли бомбу или пулю, пролетевшую между великими князьями и ранившую флигель-адъютанта Альбединского, за что они получили Георгия. Да Бог с ними, пусть получают и двадцать Георгиев, да только не мешают нашим войскам на сражениях! Лучше бы, если б они оттуда уехали: конечно, их должны там оберегать и пожертвуют для спасения их тысячами людей.

В доме у нас наконец тепло, степлело на дворе. Вечером дочитали Бутурлина; он оканчивает замечательной фразой, которую бы, конечно, не пропустила современная цензура. Константин прочел нам свои стихи, недавно им написанные; прекрасные, особенно последние строфы, но их распространять не должно.
Страшные речи и мысли высказываются. Что-то будет! Господь да помилует нас!

17 ноября. К обеду приехал Гиляров, сообщил много новостей из Москвы, откуда он только что вернулся. Новости все – наводящие уныние. Между прочим, он рассказывал, как какое-то известное лицо, лет 20 тому назад, представило два ящика свинцу с объяснением, что разработка его около Тифлиса доставила бы нам возможность не только снабжать им себя, но и Европу; как другое лицо после путешествия за границу представило сведения о превосходном вооружении англичан. Ящики и теперь, вероятно, не распечатаны, а сведение не прочтено. Слухи об Меншикове неутешительны. Из Севастополя пишут, что он совершенно потерялся и хотел бросить и город и флот на жертву неприятеля, и если б неприятель напал тогда на Севастополь, он был бы взят без бою. Но Бог не допустил этого; неприятель потерял время, неизвестно почему. Наши моряки делают чудеса в Севастополе. Говорят о какой-то медали, вероятно, пущенной в ход каким-нибудь поляком: на одной стороне ее крестьянин с бородой

держит в руке бритую голову и буквы С. Т., на другой – одноглавый орел и буквы А. Д. Лорда Дункельна отпустили в Англию; отчего такая любезность, или лучше подлость, перед врагом? Почему же наши пленные остаются в чужой земле? Запрещено печатать что-либо, даже акты и документы, касающееся до смутного времени России, также все относящееся до быта русского народа, даже собрания преданий, песен и т. д. Неужели они думают такими мерами остановить смуты!.. Гиляров – человек очень умный и замечательный; его рассказы чрезвычайно интересны; он знает жизнь с таких сторон, какие мало известны между нами. Он обещал прочесть свои записки. Но личность его как-то делает тяжелое и постоянно унылое впечатление, и в характере его есть черты не очень приятные. Положение его, как лица, вышедшего из духовного звания и постоянно находящегося под гнетом духовной власти, давящей всякое свободное движение жизни в душе человека, весьма тягостное.

18 ноября. Сегодня мы все встали ранее обыкновенного, чтоб получить раньше почту. Писем было много. Получены газеты, и в них подтверждение известия, сообщенного Гиляровым, что неприятельских судов 3 ноября погибло не 8, а 25; что много обломков кораблей, и людей, и лошадей выкидывает на берег; что английские батареи едва действуют; что мы заняли какой-то мыс. Эти известия нас порадовали, но как только мы начали читать письма М. Карташевской из Петербурга, мы были поражены известием, что хотят заключить мир с Австрией и принять 4 постыдные условия. Мы все были поражены и взволнованы этим неожиданным известием, продолжали читать письмо среди восклицания отчаяния, как вдруг послышался какой-то шум и взошел Иван. Тут новое волнение и движение; все вскочили, стали здороваться; отесенька и маменька даже расстроились. Начались разные толки и рассказы с обеих сторон. Вслед за тем воротился посланный наш из Москвы и привез много журналов и кучу писем, большею частью все подтверждающих уже известные нам известия. В чтении писем, газет, толках и разговорах с Иваном прошел весь день, слава Богу, благополучно; часто казалось, что действуешь во сне. Оно и лучше, что свидание произошло среди такой суеты и волнения посторонними предметами. Дай Бог, чтоб все было хорошо.

19 ноября. Утро мы провели в разговорах, в чтении журнала одного камер-юнкера Чарыкова из Севастополя; очень просто написано и с несомненной печатью правды.

Воротились с почты, привезли два письма от тетеньки Надежды Тимофеевны с вложением копии письма Николая

Карташевскsто из Севастополя. Они ждут с нетерпением генерального сражения: всем надоела постоянная бомбардировка. Неприятель укрепляет себя с фланга.

Константин с Иваном постоянно разговаривают. Константин так добр, что, кажется, все забыл; но как бы из этого не вышло вредного недоразумения, которое кончится все-таки неприятностями. Их разговоры касаются более общих вопросов, особенно, разумеется, настоящего положения дел в России. Все согласны, что кризис внутренний неизбежен, но как и когда он будет, никто не может решить. Он не зависит от отдельных лиц или даже отдельных сословий: только сам народ может его произвести, а что может пробудить народ от такого долгого усыпления, конечно, никто не знает. Константин сам думает, что только страшные бедствия в состоянии подвигнуть народ и вызвать его спящие силы; и, кажется, Божьи судьбы ведут нас к тому. Само правительство слепо старается об этом, но страшно подумать об этом грядущем времени. Через что должны пройти люди! Что-то будет! В настоящую минуту нет человека довольного во всей России. Везде ропот, везде негодование! Раскольники ожесточены до крайности – закрыли Преображенское и Рогожское кладбища, запрещено раскольников принимать в купцы и т. д. Один знакомый нам раскольник, купец, сказал: «Мы подождем, да и решимся на что-нибудь!» Служение Молоху, как выражаются некоторые, перешло всякую меру; душегубство есть единственная цель нашего правительства. Всякая мысль, всякое живое движение преследуется как преступление; самая законная, самая умеренная жалоба считается за бунт и наказывается.

Вечером мы читали «Записки театрала» Жихарева, вызванные воспоминаниями отесеньки об Шушерине и т. д. Явно, что в нем есть какое-то злое намерение противоречить отесеньке. Он и начинает с того, но в результате выходит, что он сам то же самое говорит. Подробных сведений много, предмет мог бы быть очень занимателен, но, как сказали в «Современнике», Жихарев не возбуждает никакого сочувствия к тому, что пишет.

За чаем и после него долго разговаривали мы с Иваном, или, лучше, он нам рассказывал о Малороссии. Много интересного, умных замечаний, но между тем часто что за поверхностный взгляд, что за неосновательные суждения! Я даже ему это сказала. Надобно, однако, быть осторожней, чтоб не запутаться в прениях; лучше прималчивать, а то как раз скажешь что-нибудь лишнее, натолкнешься на такой предмет, о котором должно молчать, – невольно выходят намеки.

20 ноября. Все еще продолжаются разные разговоры; сегодня

утром читал Иван малороссийские песни. Прелесть, как хороши некоторые! За завтраком мы опять было схватились, но я замечаю, что он не позволяет себе пускаться в споры: это недаром. Может быть, он даже оскорбился моими словами; вперед этого не должно быть. Маменька и сестры поехали к Троице, погода прекрасная, и дорога также. После обеда много говорили. Константин добродушно все рассказывает, забывая даже, какое впечатление производят его рассказы на его слушателя. Иван говорил о том, что он по своим делам службы часто сталкивается с людьми разных образований или вовсе без образования, находящихся на гораздо низшей ступени всякого развитая; что именно этих людей надобно спасать от тьмы, их постепенно поглощающей; часто они сами тоскуют и не знают, как спастись. Упрекал слегка нас, особенно Константина, что он слишком исключителен и готов осудить человека, если он хвалит Петербург и т. д. Я ему несколько возражала: что касается до нас, это несправедливо. Потом мы читали критику на «Опыт биографии Гоголя».

21 ноября. Мы были у обедни, приехали во время покрыванья, т. е. обряда полупострига; Шаб., молодая хорошенькая девушка, с напряженным вниманием смотрела на этот обряд: она сама хочет вступить в монастырь, неизвестно вследствие каких причин. После обряда она сказала с радостным лицом: «Кончилось обрученье». Кто знает, может быть, и в самом деле коснулась души ее та простая, истинная любовь к Богу, пред которой бледнеют все блага жизни. Такая любовь, такое стремление по-настоящему весьма естественны в человеке, и только испорченность нашей природы, искажение нашего разумения делают их редкими и странными для нас явлениями. За обедней приобщались – игуменья, ее дочь Еллинская и внучка Шаб. и почти все монахини. Вид стольких женщин, хотя, конечно, грешных, но все же посвятивших себя Богу и приобщающихся Ему в эту минуту, производил особенное впечатление. Мы простились после обедни с Еллинской, которая должна скоро ехать; воротились домой уже в час. Маменька с сестрами воротились от Троицы часа в три, привезли газеты и два письма – от С. Погодиной и от Княжевича. Новостей особенно никаких. Данненберг отставлен. К обеду приехал священник с женой, после обеда читали кое-что, начали Читать об Суворове.

22 ноября. В понедельник писали письма, вечером продолжали читать о Суворове.

23 ноября, вторник. Не ожидали писем, однако же Получили письмо от Погодина, только что возвратившегося из Петербурга. Он очень доволен своей поездкой, приемом великих князей и,

вообще, настроением Духа в Петербурге. Чуть ли он не ошибается в последнем! Может быть, некоторые и прикинулись при нем русофилами. Погодин хочет сам заняться «Москвитянином» и зовет всех к содействию. Письмо от Гильфердинга также сообщает довольно приятное известие об отражении неприятельских кораблей от крепости Петропавловской в Камчатке. Гильфердинг собирается к Новому году в Москву и к нам. Погодин получил, как видно, поручение написать для Норова, министра просвещения, отчет о состоянии просвещения, учебных заведений и т. д. – Тема обширная; как-то он ею воспользуется! Конечно, она будет без результата в министерстве, но хорошо, по крайней мере, что будет написана и пойдет по рукам, как и его политические письма, которые приобрели ему *народность* и всеобщее уважение. Вечером мы читали «Записки студента». Очень интересно и живо написано, видно, что это в самом деле записано в самую минуту событий того времени.

24 ноября. Утром читала я *Повесть о малороссийском народе* . Сильно возбудительная вещь. Все, каждое слово проникнуто одним духом! А между тем нельзя не видеть всех вин самой Малороссии, которые неизбежно влекли ее к гибели. После обеда, часу в 8-м, уехал Иван в Москву; поехал он весело, какой-то воротится? Дай Бог, чтоб ничто не нарушало мир душевный нашей семьи. Читали Марьета и потом какую-то повесть в «Москвитянине», вперемежку «Journal de Francfort». – Ноты Нессельроде выше всякого вероятия. Как пишут в Пруссии, что одну из нот с Австрией мы писали sous la dictee de la Prussie! (под диктовку Пруссии (фр.))

25 ноября, четверг. Газеты привезены рано и 2 письма, одно от М. Карташевской, другое от Трушковского. Карташевские собираются к нам, может быть, даже скоро. От Коли из Севастополя получили они грустное письмо, не видят конца этому положению. Балаклава вследствие укреплений неприятельских сделалась вторым Севастополем. Говорят, на место Данненберга Липранди: этим все довольны. Липранди до сих пор отличался храбростью и отважностью. После бурной погоды в Крыму настало июньское тепло. Гильфердинг пишет, что, по последним извести ям из Крыма, там ничего не происходило важного. Все удивляются, зачем такая бездеятельность с наше! стороны; враги наши мало стреляют, но укрепляют себя со всех сторон укреплениями. Против Меншиков. сильная партия в Петербурге. Он мог ошибаться, делать промахи, но он благонамерен, по крайней мере тогда как того же нельзя сказать о тех, кто распоряжается в Петербурге. Жаль, что Меншиков не любим, как говорят, в войске, именно потому, что

неприветлив: осматривает войска, проезжая мимо их, он ни слова не обращает к ним, и они этим обижаются. Трушковский сообщает слух о взятии Балаклавы, но это вздор Трушковский едет в Петербург, а на праздниках к нам Ему советуют искать места в главной квартире. С его знанием турецкого языка это, вероятно, возможно.

26 ноября. Сегодня получено одно письмо от Казначеева. Вести, им сообщаемые, уже все нам известны другие же весьма сомнительны, будто Англия и Франция желают мира. Его желает, может быть, Австрия, все в страхе, чтоб государь не заключил с ней мира. – В газетах нового ничего. Подробности из «Морского сборника» о гибели неприятельских судов, 35 транспортных и 6 больших кораблей. Какой истинно христианский подвиг спасти погибавших врагов с опасность своей жизни и в то время, как их союзники отказались от такого самопожертвования! Донские казаки-охотники совершили его. Господь не оставит народ, способный на такие дела. Одно транспортное судно, выкинутое на мель, погибало, когда наши войска, приблизившись под переговорным флагом, дали знать экипажу: английский капитан и английские матросы (между ними только 7 турок) спаслись, остальные 25 человек турок оставались на корабле. Английский капитан отказался им помочь, говоря, что он не намерен рисковать жизнью английских матросов для спасения турок. Тогда несколько охотников из донских казаков вызвались и с великой опасностью для себя самих исполнили, однако же благополучно, свое доброе дело.

Утешительно читать в газетах распоряжения великого князя Константина на счет морских раненых, его попечения о них и т. д. Вообще, в этом маленьком уголку правления начинается реакция. Константин призывает всех к деятельности, дает место мысли, знанию, возбуждает общее участие к общему делу, сообщает все, что может, во услышание всем, для общего содействия и т. д.

Маменька говеет и проводит сегодня день и ночь в Хотькове. Сегодня день рождения Любы. За обедом мы поздравили друг друга и пожелали уничтожения немецкой партии в России. – Спешим читать иностранные газеты, Путята прислал нам их так много зараз. В московских газетах напечатано объяснение в нескольких резких словах гр. Ростопчина о том, что он ни Погодину, ни Тихонравову не давал права печатать письма его отца (известного гр. Ф. В.), что он сообщил их им только для справок, а между тем Погодин напечатал, что поместит их все в «Москвитянине», а Тихонравов уже поместил их в «Отечественных записках» и, несмотря на его несогласие, еще напечатал статью о том же (но этой статьи нет в «Отечественных записках», верно,

она была остановлена). Из всего этого вышла довольно грязная площадная сцена. Погодин, самым оскорбительным образом, с обидными намеками, за то, что он напечатал эти письма в журнал, напал на Тихонравова, который, в свою очередь, отвечал самым оскорбительным образом. Погодину, верно, очень неприятны такие обвинения, особенно в минуту его славы, народности, общего уважения, возбужденного его письмами.

27 ноября, суббота. Мы сидели вечером за чтением иностранных журналов, когда, к общему нашему удивлению, возвестили нам Гилярова. Первым его словом к маменьке было: «Я надеюсь, что вы не откажетесь быть крестной матерью моего сына». Что было делать: отказаться совестно, а принять приглашение не очень приятно; лишние расходы и сверх того какая-то связь, какие-то обязательства налагаются, которые иногда бывают очень некстати. Жена же у него всегда больная и прихотливая, отказ мог бы ее так огорчить, что она разнемоглась бы еще более: нечего делать, маменька согласилась, и в понедельник назначено крещение.

Я сегодня вспомнила, что у нас с Константином есть крестник, которому уже теперь должно быть 17 лет, и надобно признаться, что мы поступили с ним довольно беспечно. Отец его писал прежде и присылал даже свои бумаги, но мы долго не отвечали почему-то, а потом искали его и не нашли. Его перевели кура-то в другое место, так и совсем потеряли из виду, а, Может быть, могли бы ему чем-нибудь быть полезны. Крестили мы его по особенному случаю. В 1837 г. поехали мы с маменькой в Курскую губ. в деревню к тетеньке В. Сем. Самбурской. Мне было 18 лет, Константину 20. Мы были и на Коренной тогда. Погостивши у тетеньки, мы возвращались обратно. Один раз, часов в 9 вечера, кажется, около Тулы, подъехали мы к станционному дому, не думали даже выходить из кареты. На крыльце стояла старушка, она обратилась к нам с просьбою окрестить ребенка, только что родившегося; как мы ни отговаривались, принуждены были согласиться на ее просьбы. Она нам рассказала, что станционный смотритель здесь только недавно, никого не знает, самого его нет дома, и жена его не знает, к кому обратиться. Мы вошли в маленькую комнату, еще в другую, где лежала родильница, прехорошенькая молодая женщина. Пришел священник, мы окрестили, поцеловали куму свою, сели и уехали. Потом в другой раз, через несколько лет, мы – маменька и я – опять ездили в Курск, но уже зимой, совершенно при других обстоятельствах; опять попали на станцию к нашему куму, Яновскому; крестнику уже было года три, милый мальчик; красавица кума сама суетилась, чтоб нас угостить, с отцом также познакомились, они

были нам очень рады. Воспоминания давно минувших дней! Гиляров много рассказывал любопытных подробностей о Филарете; он хочет описать эту замечательную личность, возбуждающую негодование в душе каждого подчиненного и вместе с тем порабощающую всех своим влиянием.

28 ноября, воскресенье. Получили письма от К. И. Елагиной, из Москвы от Ивана – он остается до вторника по делам, от Новаковича из Берлина, от Трутовского. В газетах известий из Крыма нет, и до сих пор еще не напечатано известие о Петропавловске. Зато помещена статья из «Journal de St. Petersbourg», доказывающая, что слух о принятии нами 4 условий должен быть справедлив. Этого позора еще недоставало. Мы заботимся об Австрии, конечно, столько, сколько и она, и боимся сами не менее ее средств, находящихся в наших руках для ее гибели. Конечно, нельзя поверить, чтобы нам была страшна война с нею: вся почти Австрия состоит из племен, готовых быть нам союзниками, и стоить только объявить нам поход на Вену, чтобы венгры, славяне отделились от нее и итальянцы с своей стороны! Чего же мы боимся? Мы, т. е. правительство, боимся разрушения старого порядка вещей. Наше правительство все живет немецкими началами, немецкой политикой; чувствует нераздельное сродство свое со всей системой Австрии, и Нессельроде действует очень сознательно. Он недаром сказал, что правительство наше, будучи самодержавное, не может не поддерживать самодержавных государств, а что поддерживать славян, это значит поддерживать демагогическое начало, что опора нашего правительства есть Австрия, и прибавляет, что он не может нести ответственности за дела нашего министерства, потому что у нас в самодержавном государстве решает сам государь. А кто имеет влияние на государя, как не он! Кто его сбивает, пугает такого рода словами: *демагогическое начало* и тому подобное! Даже в иностранных газетах говорят о том, как государь сам сделал прибавление к ноте Нессельроде от 18 октября, которое придало ей силу, и т. д. – Это видно, что у государя с Нессельроде идет борьба, и, конечно, доказывает бесхарактерность первого, которою последний очень ловко пользуется. Положение наше совершенно отчаянное: не внешние враги нам страшны, но внутренние, наше правительство, действующее враждебно против народа, парализующее силы духовные, приносящее в жертву своих личных немецких выгод его душевные стремления, его силы, его кровь. Что еще более приводит в отчаяние, это наше собственное нравственное бессилие. Обыкновенно человека, уже негодующего на беззаконные поступки, всякое новое противозаконное действие,

нарушение прав и т. д., должно возмущать все более и более; но мы напротив, с каждым новым деспотическим беззаконным поступком, оскорблением всего народа и т. д., мы теряем силу и способность негодовать. Мы недовольны, мы огорчены, но мы парализованы нравственно и неспособны ни на какое изъявление нашего негодования, общественного горя. Мы впадаем тотчас в отчаянное уныние, теряем веру в силу духа и, очень может быть, пропускаем случай, я не говорю противоборствовать, но, по крайней мере, высказать свое мнение дружно и сильно, так, чтобы невольно заставить его уважать. Может быть, конечно, это бессилие происходит от того, как справедливо думают, что мы оторваны от народа, что до народа и не доходят причины нашего негодования, он не знает и не принимает участия в действиях нашего правительства. Народ было увлекся, предался восторгу в начале войны, когда слова: «за веру православную, за единоверных братьев» коснулись до его слуха. Но этот восторг даже возбудил подобные этому выражения: «cet enthousiasme nous embete, nous en avons trop» («этот энтузиазм нам надоедает, у нас это чересчур», (фр.)) и т. д., и этот восторг обкатили холодной водой с самым оскорбительным пренебрежением к выразившемуся в нем стремлению, желанию народа; народ, оттолкнутый таким образом, впал в прежнее свое унылое положение, а без народа какая может быть сила в отдельных лицах и даже сословиях? Но долго ли может существовать правительство, действующее враждебным образом против своего народа, следующее системе совершенно противоестественной, это решить трудно, но не может оно существовать всегда на таких противоестественных основах. Это можно сказать, кажется, наверно. И не дай Бог, чтоб переворот совершился насильственно! Дай Бог, чтобы правительство само поняло и само себя преобразовало. Константин Николаевич понял это и уже начал преобразовывать в своем кругу действий, но, как Константин справедливо замечает, это-то самое разногласие в самом правительстве и будет причиной раздора. Письмо от Новаковича оставило приятное впечатление. Какой добродушный славянин! Он просит помолиться за него у преп. Сергия. Надобно непременно исполнить его просьбу.

6 декабря, понедельник. Я не писала целую неделю, было некогда, а писать поздно не хотела, а между тем много интересного, если не произошло, то было прочтено у нас в это время. Во вторник, 30 ноября, воротился Иван, привез нерадостные вести из Москвы, слухи о мире подтвердились. Государь в крайнем расстройстве, даже в истерике. Нессельроде и прусский посланник одни только допускаются. Константин

Николаевич сказал Погодину, что наследник теперь одного мнения с ним, т. е. желает войны, а между тем мы принимаем 4 постыдные условия. Погодина просили многие министры написать его взгляд на предметы их управления. Положим, он напишет и хорошо, но разве будет от того какая-нибудь польза? Все глубоко огорчаются, но, мне кажется, негодование общее утомилось. – Маменька в этот день ездила крестить к Гилярову, возвратилась только к обеду. Гиляров показался маменьке очень жалок в домашних хлопотах с больной женой, и всегда довольно прихотливой и требовательной. Вечером, уже в одиннадцатом часу, нам сказали: «Приехал Кулиш». Мы ожидали его с женой, но не так скоро; вышли к нему навстречу. Но он приехал один, жену оставил в Малороссии, за дурными дорогами. Маменька, не ожидавшая с удовольствием посещения его жены, как женщины вовсе незнаемой, была довольна, что он приехал один, а Наденька жалела, потому что желала видеть малороссиянку и слышать малороссийские песни.

Вот уже другая неделя, как живет у нас Кулиш. На другой день его приезда, т. е. середу, провели в разговорах, а с четверга назначили по утрам до обеда занятия, а по вечерам разговоры или чтения. Так и исполняли. Три вечера сряду читал нам Кулиш свой исторический малороссийский роман «Черная Рада». Кроме нескольких весьма лишних и цветистых рассуждений о любви, нескольких вовсе ненужных сравнений и отчасти довольно устарелых форм романа, роман этот чрезвычайно интересен и замечателен. Исторические события передаются живо, в полноте всех обстановок; значение казачества, Запорожья, характеры запорожцев выставлены живо и верно, язык удивительно прост, жив и передает весь дух малороссийской речи. Некоторые отдельные характеры прекрасны. Кулишу следовало бы написать целый ряд исторических малороссийских романов, и это было бы настоящее дело, но он говорит, что недостанет сил нравственных, что с мыслью о невозможности печатать теряет силы, нужные для такого труда. Между тем по утрам он занимался чтением писем Гоголя к отесеньке и отесенькиных записок (пространных) о Гоголе. Прочтя «Раду», Кулиш приступил к чтению своих записок о Гоголе, т. е. своего опыта биографии, но втрое обогатившегося, после напечатания в журнале, драгоценнейшими сведениями о Гоголе и его письмами. О впечатлении этого чтения я не буду говорить покуда, оно даже слишком подавляет душу. О Кулише также поговорю в другое время.

В понедельник из Москвы получено письмо от Томашевского крайне горестного содержания. Мы приняли 4 постыдные условия, и в то время, когда наши враги сами объявляют, что им

приходится очень плохо под Севастополем; вероятно, мы и поспешили для того, чтоб вывести их из этого затруднительного положения; ну как же не сказать, что у нас в министерстве австрийский агент действует? Нессельроде и в прежних своих нотах словами, что не могли мы принять этих условий quant a\' la forme (что касается формы (фр.)), намекал ясно, что мы их примем в другом случае; вот и приняли, а между тем Австрия заключает в то же время союз с Англией и Францией, говоря, что это союз для миролюбивых целей; т. е. чтобы нас унизить и обессилить, враги наши считают тогда только мир возможным. Как мы ни стараемся сами об этом, но еще не успели; унижение страшное только в дипломатических бумагах, этого для них мало, и вся наша надежда на них, что они все-таки не согласятся на мир, несмотря на то, что мы приняли эти постыдные условия. Они потребуют, вероятно, того, на что уже не будет никакой возможности согласиться. Впрочем, почему же и нет! После всего того, что было, разве мы не должны ожидать, что завтра же велят срыть Севастополь и сжечь наш флот? От нашего правительства всего станется. Страшно то, что мы как-то обтерпелись и нас уже не так волнуют, не так поражают такие поступки нашего правительства. Что-то будет! Видно, еще далеко не переполнилась чаша испытания русского народа, еще не довольно сильны бедствия и унижения для того, чтоб заставить его говорить, а наше общество чувствует себя так бессильно, что не способно ни на какое единодушное движение. Что-то будет с русской землей? Страшно будущее!.. Впрочем, кто знает, может быть, все это кончится позорною пошлостью для нас. Стоит им только согласиться на этих условиях с нами, и тогда позор наш никогда не смоется. Впрочем, он падает на одно правительство. Неужели так разыграется эта страшная драма, которая подняла столько мировых вопросов, которой развязка и последствия терялись вдали? Значение и будущность всего человечества и каждого племени в особенности зависели, кажется, от ее окончания, и венцом всего должно было быть торжество веры Христовой, и именно православия. Неужели все это показалось на минуту для того, чтоб скрыться опять на неопределенное время? Неисповедимы пути Божий, не человеку разрешать их; да не отымет Бог святых судеб своих от нас, за грехи наши! Кстати (особенно теперь) стихи Хомякова; покаяние, очищение, смирение и молитва – вот что должно было предшествовать святому подвигу, вот почему, конечно, мы не допускаемся как будто до него. Два дня мы читали записки о Гоголе по вечерам, а потом два дня и утро, и вечер. Впечатление этого чтения трудно передать, оно подавляло душу. Слова Гоголя поднимают со дна

все силы душевные, все ее забытые прекрасные потребности и стремления, подымают вопросы давно забытые, тревожат ее, расширяют ее мир, и трудно совладать со всей этой проснувшейся жизнью. К тому же воспоминание о нем самом, о том голосе, который изустно раздавался между нами и которого не услышим больше, о той силе жизни гения, о той неистощимой любви ко всем и к каждому, которая не давала ему покоя! Письма его преисполнены этой любовью. Какая нежная предупредительная попечительность! Какая свежесть, какая полнота прекрасной жизни в его молодых письмах! Какие драгоценные отрывки нашел Кулиш! Душа перешла через столько впечатлений при этом чтении. Делали некоторые заметки, Кулиш принимал охотно советы, даваемые ему. Странный человек, способный так верно, так тонко видеть и судить и столько же способный впасть в ошибку, а главное, попасть в фальшивую ноту! Чаще же всего он употребляет какие-то фигуральные, цветистые выражения вроде: литературная мантия и т. д., и это очень мешает его, местами чрезвычайно верным и даже глубоким, замечаниям, всегда полным искренней любви и даже благоговения к Гоголю. Кулиш – человек очень умный, наблюдательный, но какая-то странная путаница в его понятиях о чувствах любви поразила нас и прежде в его повестях, и теперь также в романе его «Черная Рада», а особенно в одной его повести, которую он было начал нам читать, но не мог продолжать; он сам почувствовал ее недостатки, ее фальшивый тон более, нежели мы могли ему это высказать; вскочил со стула и сказал: «Нет, я не могу продолжать, я сам почувствовал, как это дурно, фальшиво». Вот что значит читать вслух в большом обществе, в присутствии людей, недовольно знакомых!

В пятницу мы кончили читать записки о Гоголе. Боже мой, как он страдал, какие страшные душевные подвиги, какое неутомимое, неослабное, ежеминутное стремление к Богу, к совершенству, непостижимое почти для нас, обыкновенных людей! Это – святой человек, и все его ошибки и умственные заблуждения разве не происходили из тех же прекрасных источников, и как мало, лишь немногие знали его, но Бог ему награда! В субботу утром воротился Иван из Москвы. (Он уехал в среду вечером.) Политические известия все хуже и хуже. Говорят, мы на все готовы согласиться; говорят, будто бы государь сказал: «Я не только приму 4 пункта, я приму 44 пункта». Нессельроде едет в Вену. Можно себе представить, что будет на тайных совещаниях, когда и открытия таковы! Но враги все-таки не дадут нам мира. Австрия присоединилась к Англии и Франции, а Пруссия и Германия к Австрии. Государыня, говорят, больна,

великие князья приехали из Севастополя в Петербург. Пусть будут они все здоровы и счастливы, да только не губили бы нас, Россию! Нессельроде в своей депеше к Пруссии пишет: «Pour eviter a I\'Allemagne les malheurs de la guerre I\'Empereur de Russie est pret a accepter les 4 bases de la paix» (« *чтобы избежать несчастий войны в Германии Император России готов принять 4 условия мира», (фр.)*) и т. д. Не ругательство ли это над Россией? Иван привез нам «Journal de Francfort».

Накануне приезда Ивана мы кончили чтение записок о Гоголе. Кулиш как-то был довольнее, свободнее; он очень работал по утрам, списывая из черновых бумаг Гоголя, находящихся у нас, Альфреда, отрывок из драмы. Это ему стоило много труда, написано оно чрезвычайно тесно и слепо. Он перебирал все бумаги и книги Гоголя, разобрал кое-что новое, небольшие отрывки, часто состояние из нескольких только слов, но и в них видны следы его гения. Каждый вечер после чаю Кулиш учил Наденьку петь малороссийские песни, и сам учился петь славянские и другие. В нем много учительских приемов и какой-то старинный методизм в выражениях, в приемах и даже в мыслях, а между тем слышна под этим страстная натура, которая впрочем, как кажется, побеждается довольно сильным характером, но странные у него понятия, особенно о некоторых предметах. Мне кажется, это как будто следы впечатлений <от> Жан Жака Руссо, о котором он и теперь говорит с таким восхищением. Странно, как же он мог понять так истинно, так глубоко Гоголя, чисто духовного человека, и с таким благоговением предаться ему! В пятницу, особенно вечером, все как-то были очень разговорчивы, но поутру в субботу приехал Иван, привез столько неприятных вестей, которые всех смутили.

Кулиш же просил Ивана нанять лошадей так, чтобы Кулиш мог с теми же лошадьми возвратиться в Москву. Иван так и сделал, но когда сказал о том Кулишу, тот сказал, что не думал ехать так скоро, что у него еще есть дело, что неужели уже суббота и т. д. Братья, разумеется, сами уговаривали его не спешить и остаться у нас. Извозчик был отпущен, а между тем вдруг после завтрака Кулиш объявил, что он все кончил и что собирается на другой день ехать. Константин уговаривал его отложить отъезд, но он не согласился. Что было причиной его такого изменения своего намерения и быстрого решения – не знаем, но кажется, это не без причины; может быть (так как он человек весьма щекотливый), ему показалось, что он уже слишком долго у нас зажился, что мы несколько тяготимся его пребыванием, желаем его отъезда, но только из учтивости его уговариваем. Он был как-то смущен и как будто расстроен весь

этот день, вечером прочел нам письма Гоголя, которые не вошли в биографию. Мы просили его показать нам главы «Мертвых душ» второго тома. Я и Константин прочли первую, нам столько памятную: ее читал нам сам Гоголь; ничто так живо не напомнило нам Гоголя; казалось, он был тут, казалось, мы слышали его голос. Хотя эта глава далеко не в том виде, в каком он нам ее читал, но и в этом она так прекрасна, что снова произвела на нас то же впечатление, впечатление, которое только Гоголь мог производить; как живо почувствовали, чего мы лишились, чего лишился весь мир: в ком отразится он так, кто его так сознает и передаст! Прежде нам не хотелось, нам было больно, и взглянуть на эти оставшиеся черновые страницы, но теперь так захотелось их иметь!

После чаю Кулиш предложил Наденьке читать по-малороссийски и подарил ей свою тетрадку выписок из малороссийских песен, потом пелись малороссийские и славянские песни, но немного, и скоро все разошлись. – В воскресенье все утро Кулиш работал до Завтрака, списывал разные письма, стихи. После завтрака он сейчас же собрался; видно было, что он взволнован несколько. Простился он со всеми с искренним чувством, он был сильно тронут и благодарил за участие к нему; все простились с ним с самым дружеским чувством и пожелали ему от души доброго успеха его труду.

Он сказал, что на возвратном пути из Петербурга заедет к нам, если что-нибудь необыкновенное его не задержит. Мне кажется, он не думает заехать… Может быть, впрочем, я ошибаюсь.

Вскоре после отъезда Кулиша собрался и Иван. Он переехал к Троице, чтоб там заняться своим отчетом. Лучше этого он не мог придумать ни для себя, ни для мае. Бог да не оставит его!

Вторник, 21 декабря. На прошедшей неделе не было ничего замечательного.

После отъезда Кулиша и Ивана мы, т. е. сестры, принялись за работу для церкви в дальнюю деревню и только в неделю окончили ее. Отесенька и Константин занялись своими занятиями, а маменька говела. По вечерам чтения наши были вовсе не занимательные. Журналы невыносимо пошлы и скучны; повести в них до крайности дрянны; а журналистику решительно нет Сил слушать, до того все глупо, пошло, придирки их друг к другу подлы до отвращения. Особенно мы были избалованы неделю перед этим таким глубоко занимательным для нас чтением, как записки о Гоголе, его письма и т. д. – При такой бедности чтения мы вздумали перечесть «Ульяну Терентьевну» Кулиша, и она опять произвела на нас тоже неприятное

впечатление, а в Константине, который читал в первый раз, даже отвращение. – Странный этот человек Кулиш, что за путаница у него в голове; разнородных понятий, а в душе разнородных стремлений! Мне кажется, это плоды смешения страстного малороссийского характера с влиянием польской жизни и, главное, Ж. Ж. Руссо, про которого он сам сказал, что это был его лучший друг в заточении. Он даже огорчился, что мы напали на безнравственность Руссо, и пробовал его защищать. И сам он, верно, считает такого рода отношения, какие выведены в «Ульяне Терентьевне», самыми чистыми и идеальными. Вот зло такого взгляда, которого, конечно, первоначальным распространителем был Руссо, этот соблазнитель душ, и который до нашего времени действует так пагубно под именами Ж. Занд и т. п. Что за отвратительное смешение чувств, что за утонченная чувственность, которая проникает во все святые чувства и отношения между людьми, и что за нелепость выставить ребенка с такими ощущениями взрослого и т. д.! Надобно отдать справедливость Кулишу, что он способен почувствовать свою ошибку, заблуждение, и почувствовав раз, он, кажется, способен от нее отказаться; силы воли у него на то станет, но не скоро может совершаться такое перерождение, иначе оно было бы не прочно.

В воскресенье (19 декабря) удивлены мы были нежданным манифестом в газетах. Все, особенно отесенька и Константин, прочли его с радостным волненьем; они уже радовались тому, что события, как кажется, против воли ведут наше правительство к совершению нашего долга, что от постыдного мира избавят нас сами наши враги, что события сильнее человеческой воли и т. д. Но между тем нельзя еще наверное сказать, чего предвестником этот манифест мира или войны. Он говорит о возможности и того и другого, и вот почему простые люди в недоумении и не знают, как его понять; но замечательнее всего то, что в манифесте как бы нарочно избегаются слова: за веру, за православных братии; ни одного изречения из Священных книг, точно как будто поднято другое знамя, как будто уже не существует первоначальной причины этой войны; и, конечно, государь торжественно в официальной нессельродовской ноте отказался уже от покровительства над православными христианами на Востоке, покровительства, которое непрерывно поддерживали в продолжении стольких веков так ревностно все цари русские и которое приобретено кровью русских. А теперь православный царь русский предает православие и мучеников за него в руки злейших их врагов, католиков, которые и теперь уже объявили в речи архиепископа Парижского крестовый поход на

православие. – Конечно, западные правительства не стали бы теснить чуждое вероисповедание из одного фанатизма, у них для того слишком много равнодушия к вере, но им необходимо истребить православие, потому что это главная, может быть, единственная сильная связь миллионов православных христиан с православным царством русским, связь, придающая нам ужасающую их силу. Духовенство же католическое для своих корыстных целей преобладания через веру, отчасти, может быть, из фанатизма, не пропустит, конечно, такого случая и употребит все средства, допускаемые иезуитством для достижения такой цели. Протестанты с своей стороны наводнять несчастные земли славян, училища, монастыри; лжеучение, безверие, все соблазны Запада, всевозможные притеснения окружат наших несчастных братьев, и русские отдадут в этом ответ Богу, но да не допустит Бог до этого! – Я сама слышала, как говорил греческий митрополит, что *католики хуже для нас турок.* Турки убивают тело, а католики душу.

Если Господь и не допустит до такого зла, то все же это факт неизменный, что русский царь отказался от покровительства над православными братьями и предал их в руки католиков и протестантов. И какая это нота Нессельроде! О, эти ноты составят ему страшный памятник в потомстве! Все эти постыдные уступки мы делаем для того, сказано в ноте, чтоб предупредить разделение в германских государствах. В ту минуту, когда Россия гибнет и кровь русская проливается, нас пугает только одно, что целость Германии будет нарушена, между тем как это самое разделение было бы для нас выгодно! – Что-то будет! Константин хочет предложить ополчение в Москве и сам хочет идти, но этого не должен он делать. Да и покуда Нессельроде управляет делами, нельзя доверять правительству.

Вчера маменька приобщалась у Троицы и воротилась к обеду. После же обеда поехал Константин в Москву; он написал письмо к князю Оболенскому по поводу манифеста и еще статейку в «Journal de Francfort» по-французски, вряд ли она может быть напечатана.

Сегодня, т. е. 21 декабря, получены письма от Кулиша из Петербурга, от Филиппова, одно из деревни и от Е. Ант. В. Кулиш начинает свое письмо благодарностью, говорит, что пребывание у нас принесет ему душевную пользу. Обращает ко всем какую-то поэтическую фразу, хотя и искреннюю (я в этом уверена), но довольно странную. Между прочим, эта фраза, мне кажется, подтверждает мою догадку, что он не имеет намерения к нам приехать. Он говорит, что каждый из нас сделал на него впечатление, которое только может добрая душа желать

произвести на странника, с которым никогда уже не встретится, и т. д. Он описывает оригинальное свое свидание с А. О. Смирновой. – Я очень рада, что он будет читать ей биографию, она сделает верные ему замечания. Слова Кулиша, что Плетнев расспрашивал его о нас, о наших ежедневных занятиях и т. д., представили нам живо, как картинно и повествовательно (это его манера) рассказывает Кулиш о нас, и вообще сколько толков идет об нас и большею частью все кривых. И мы не можем еще сами решить, какой образ приняли мы в голове Кулиша. Большею частью люди, самые жаркие поклонники нашей семьи, или ее идеализируют до неестественности и даже до смешного, или доводят до такой крайности и до уродливости строгость нашего нравственного взгляда, или превозносят до такой степени наше общее образование, ученость даже, что или другие могут счесть нас за педантов или, по крайней мере, таких исключительных людей, к которым простой, не слишком образованный человек и подойти не может. Словом сказать, делают из нашей простой жизни (которая слагается сама собою и часто из необходимости обстоятельств) что-то натянутое, неестественное, смешное и даже уродливое. Неужели так трудно понять простоту нашей жизни! Право, это даже часто неприятно; мы живем так потому, что нам так живется, потому что иначе мы не можем жить, у нас нет ничего заранее придуманного, никакого плана заранее рассчитанного, мы не рисуемся сами перед собой в нашей жизни, которая полна истинных, действительных страданий, лишений всякого рода и многих душевных невидимых огорчений. Мы все смотрим на жизнь не мечтательно: жизнь для всех нас имеет Строгое, важное значение; всем она является, как Трудный подвиг, в котором человек не может обойтись без помощи Бога. Всякий добрый человек найдет в нас сочувствие искреннее, и участие добрых людей нам дорого; но мы не нуждаемся в том пустом участии, которое больше похоже на любопытство, и особенно неприятны эти толки о нас от нечего делать, от недостатка интересов в самом обществе. Нам не нужно этой известности и никакой даже, мы ее не добиваемся. В самом удалении из города и посещении нас… Марихен справедливо и забавно говорит, что нам пора воротиться в город, потому что мы здесь находимся в слишком картинном удалении. Иван пишет из Троицы, что туда приехал австрийский посланник князь Эстергази, и переводчик его говорил гостиничному монаху, что войны с Австрией не будет. Всего вероятнее, что он говорил это из опасения неприятностей для посланника, если б узнали о войне, и также вероятно, что австрийский посланник приехал посмотреть Москву и Троицу пред выездом из России; впрочем,

это все только вероятно, но недостоверно, и, может быть, скоро мы узнаем противное. По крайней мере, по иностранным газетам, надобно скорее ожидать мира, потому что они уже объявляют, что император Николай согласился на все 4 уступки sans reserve (без резерва, (фр.)). – Оказалось, что это не посланник, а какой-то чиновник из посольства.

22 декабря. Сегодня маменька ездила в Хотьково с Марихен к обедне. Там ходит слух, будто Севастополь взят.

29 декабря. Опять некогда было писать. – 23-го числа приехал Константин из Москвы и привез Трушковского, который вчера в ночь уехал, а сегодня к обеду приехали Юрий и Андрей Оболенские.

В это время нового ничего особенно замечательного не случилось. Под Севастополем дела все в том же положении. В дипломатии также туго двигаются вперед. Мы соглашаемся на четыре постыдных пункта; враги наши требуют большего. Может быть, правительство наше и еще уступит, потому что оно больше всего боится распадения Австрии, в которой видит подпору своим началам.

В Петербурге (все говорят) так отвратительно, занимаются пустяками – какой-то цитрой, которую ввел в моду лакей баварского посланника; роскошь более, нежели когда-нибудь; бранят государя, но все из каких-то пустых причин. – В Севастополе, говорят, ужасный беспорядок, почта не доходит до раненых, управление в ужасном виде, многие обвиняют сильно Меншикова, против него страшная кабала.

Трушковский привозил нам письма Гоголя к Смирновой и оставшиеся главы «Мертвых душ» 2-го тома. Все эти чтения произвели сильное, глубокое впечатление на всех и возбудили много и много разговоров и толков, над многим заставили глубоко задуматься. Гоголь – святой человек по своему стремленью. Он мог ошибаться как человек; мог запутываться в приложении к житейским обстоятельствам тех святых истин, которым был предан всеми силами души своей, но он возлюбил Бога всем умом своим, всей душой, всеми помышлениями, и ближнего, как самого себя, больше этого не требуется от человека. Какой святой подвиг вся его жизнь! Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и все его духовные внутренние труды. Какая искренность в каждом слове! И этого человека подозревали в неискренности! Прекрасны его слова к Смирновой о России, как замечательны они теперь! Он верил в светлое будущее России, но путь к нему указывал в настоящем.

Главы «Мертвых душ», особенно последняя, в таком

неоконченном виде, что скорее их можно назвать заметками, которые автор набрасывает для себя самого. Но все же, какие чудные задачи и какие места! Одна первая глава довольно окончена, хотя тоже не в том виде, как мы ее слышали от самого Гоголя. Отношения его к Смирновой самые задушевные, дружеские, основанные на духовном стремлении. Трушковский – добрый, не глупый человек, но жалко видеть его бессилие внутреннее, которым столько страдает молодых людей в наше время. Он чтит память дяди всей душой, с благоговением. В настоящее время он посвящает себя собиранию писем Гоголя и приготовлению их к цензуре, а если она разрешит, то немедленно приступит к печатанию. Он также получит разрешение на продолжение печатания сочинений Гоголя, начатого еще им самим, которое было приостановлено после него из каких-то нелепых опасений. Трушковский очень откровенно признается в влиянии дурном Петербурга, которое он всякий раз испытывает, когда там бывает, и потому решительно не хочет там служить. Вообще он еще не решился, какое поприще избрать себе; это и точно трудно, когда нет в душе особенного, исключительного стремления к чему-нибудь, предпочтения чего-нибудь. Недостает в нем какой-то активной силы, а между тем он чувствует живо и принимает живое участие в событиях нашего времени. Нельзя не заметить, что он несколько изнежен, избалован, и в этом отношении Малороссия ему очень вредна. Впрочем, он еще очень молод, ему 21 год. Жизнь научит и укрепит. Мы все говорим ему откровенно наше мнение и делаем ему замечания насчет его характера и т. д. Он принимает хорошо все эти нравоучения, хотя я уверена, что они не совсем ему приятны.

Князья Оболенские, Юрий и Андрей, славные люди, доброта и простота у них врожденная, и они оставляют самое приятное впечатление на всех. Они пробыли у нас с лишком сутки и поспешили к своим женам встречать новый год. Вчера, т. е. 30 декабря, они уехали в 10 часов вечера. К обеду же вчера приехал наш троицкий доктор Брызгалов с женой и с маленьким сыном. Жена его, образованная и очень умная женщина, занимается детьми, но показалась нам, может быть, с слишком твердым характером. Они также уехали поздно вечером. У нас были подблюдные песни, Андрей Оболенский лил воск, жгли бумагу и т. д.

31 декабря. Сегодня я была у Обедни, хотелось еще раз услыхать *«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови Свет разума».* День мы провели в разных занятиях. Вечером начали читать книгу Попова о русских посольствах. Дождались 12 часов, встретили 1855 год с внутренней мольбой к Богу, да спасет

Господь от бедствий, грозящих всем. Да помилует Бог всех нас в этом году!